Лит. газета. – 1988. – 13 апреля. – С. 4.

Беседа за рабочим столом

Чингиз АЙТМАТОВ: ЦЕНА — ЖИЗНЬ

Встреча нашего корреспондента с Чингизом Айтматовым состоялась вскоре после VIII съезда писателей страны, и, естественно, разговор начался именно с этого вопроса — о съезде, о проблемах, которые на нем поднимались.

— Должен сказать и, думаю, выражу общее убеждение — нынешний съезд заметно отличается от предыдущих. Тут есть, разумеется, свои причины, своя логика. Время, которое переживает нынче наше общество, — это время больших усилий к тому, чтобы добиться решительной перестройки во всех сферах бытия, а главное — в умонастроении, в психологии людей, без чего не может состояться подлинное обновление, ибо все остальные факторы упираются в начальный и конечный фактор — человеческий. В духе времени прошло и наше большое писательское собрание. В серьезных, острых, откровенных и страстных выступлениях был очерчен круг важных проблем, коренных, концептуальных вопросов жизни и литературы — таких, как упорядочение социальной справедливости, экологические тревоги, заботы о развитии национальных культур в современных условиях. Разумеется, подняты были и организационно-творческие, профессиональные вопросы, волнующие литераторов сегодня.

— Вы не выступали на съезде, а если бы вышли на трибуну, то о чем бы говорили?

— К сожалению, в этот раз я не успел подготовиться по объективным для меня причинам. Ну, а если бы выступал с трибуны, то говорил бы прежде всего о проблемах национальных, о взаимодействии культур, литератур, языков. Эти вопросы для нас жизненно важны, поскольку наша страна федеративная, многонациональная, и то, что происходит в каждой из республик, имеет непременно и общее значение. Возможно, мы не всегда об этом думаем. Но это именно так. И от того, как развиваются национальные литературы на местах, насколько современны и своевременны задачи, которые они решают на своей национальной почве, и вместе с тем в общем контексте единого для всех нас социалистического образа жизни, во многом зависит гражданский, нравственный, духовный потенциал человека — что несет он в себе своему обществу и миру: гармонию отношений или трудносовместимость, высоту национального духа, желание уважать инонациональные ценности и в той же мере быть уважаемым как представитель определенного народа, или высокомерие, равнодушие к другим, говорящим на иных языках. Это вопросы не академические, а самые что ни на есть насущные, повседневные и оттого неотлагаемые. И в этом деле нам тоже необходима гласность — как знамение нового в новом мышлении.

Культивировать гласность — таково веление времени.

Я уже говорил на партийном съезде у себя в республике и сейчас хочу повторить: надо отрешиться от старых измерений и сопоставлений, сбросить навсегда их путы. Мы все еще, обращаясь к состоянию национальных культур, вспоминаем, что были когда-то малограмотными, бесписьменными, и ссылаемся без конца на эти факты в своем осмыслении сегодняшней действительности. Как будто бы мы все еще живем в эпоху ликбеза, красных и черных досок. Но они уже давным-давно — ушедшее и не могут сегодня служить точкой отсчета. Нельзя сейчас, положим, нашу индустрию, вообще экономику сравнивать с 1913 годом. Это глупо, не лезет ни в какие рамки — на дворе другое время, время научно-технической революции. И в подходе к развитию национальных литератур, национальных культур должно быть другое измерение: нельзя уже ликовать по тому поводу, что все умеют читать и писать, что есть газеты, радио, телевидение, театры и т. д. Все это так, и хорошо, что так. Но нельзя же этим загораживаться от вновь возникающих, живых проблем живого, действующего народа и его культуры. Если бы я выступал на съезде, то сказал бы своим собратьям по литературе, особенно публицистам и критикам: не надо изображать дело так, будто в наших национальных сферах все решено и нет никаких проблем. Не надо приводить в качестве примеров эти элементарные вещи, не об этом следует теперь размышлять. А о том, насколько глубоко и демократично развивается национальная культура, национальное самосознание в системе нашей интернациональной структуры. Интернационализм — не арифметика, не сумма слагаемых, а алгебра многих национальных культур, имеющих свою самостоятельность. И в то же время эта самоданность немыслима без определенного общего знаменателя для всей нашей духовной культуры, без активного использования достижений более высокоразвитых культур. Вот об этом нам стоит толковать и в этих вещах пытаться разобраться.

Например, развитие национального литературного языка. Что происходит в нем, какие процессы? Предположим, заимствования — насколько они естественны, органичны, своевременны, не идут ли они подчас от консерватизма мышления, от лености ума, когда механически, а то и лести ради из одного языка переносят что-то в другой.

Я сразу хочу оговориться: общеизвестно, что русский язык — великий язык, и толковать сегодня о его роли для всех национальных культур страны равносильно тому, что ломиться в открытую дверь. Русский язык — великий, но это не означает, что не надо обращать внимания на внутренние закономерности другого национального языка и привносить в него, в частности из русского, то, что можно и не привносить. Курьезным фактом в этом смысле являются названия двух областных газет, выходящих на киргизском языке, — одна из них называется «Ысык-Кол правдасы», а другая — «Нарын правдасы». Меня это глубоко оскорбляет. Что же это за народ с тысячелетней историей за плечами, у которого в языке отсутствуют слова «правда», «истина», «справедливость»? Кому нужно такое коверканье русского языка и унижение киргизского, в котором только синонимов понятия «правда» насчитывается около десятка?! Развитие национальной литературы, какие бы талантливые писатели ни трудились в ней, связано с целым рядом других факторов, с общей культурой народа, с его образованием. Во Фрунзе киргизских школ не прибавляется, а строится их сотни. Давно назрела пора открыть в столице республики детские сады с киргизским языком. Никто сему не препятствует, но никто и не занимается, а ведь все это в современных условиях приобретает жизненно важное значение для народа. Что же это за национальная культура, которая не имеет своей базы?

Но когда подобные болевые мысли высказываются, то тут же находятся люди, которые начинают рассматривать это как проявление национализма, узости взглядов. К сожалению, этот зуд сверхбдительности, проистекающей в немалой степени от карьеризма, не встречает должного осуждения. Необходимо отметить в связи с этим, что в результате такая тенденция породила на местах особый тип демагога — говоруна-трибунщика, который сделал для себя восхваление русского языка к месту и не к месту и умаление собственного чуть ли не престижной профессией.

Умаление собственного национального языка, национальной самобытности — одна крайность, но есть и другая, противоположная ей, которая тоже вызывает возмущение. Я говорю о тенденции видеть свой народ только на Доске почета, видеть одни лишь достоинства, плюсы и не замечать минусов в его жизни. Понятное, объяснимое желание, но антидиалектическое, являющееся в какой-то мере тормозом на пути обновления.

Когда мы теоретически предполагаем, что со временем, в каком-то отдаленном будущем все языки сольются и будет только один или два языка в мире, захваченные этой перспективой, вряд ли мы отдаем себе отчет, что мир от этого обеднеет. Эти «победившие» языки не будут иметь окружающей подпитывающей среды. Однообразие не может обеспечить развития. Поэтому важно сохранить как можно дольше многообразие языков. В наше время информационного взрыва, когда возникли условия, нивелирующие все и вся, языковое иждивенчество никому не пойдет на пользу. Я все-таки стою на том, чтобы было множество литературных языков и чтобы у них были основательные возможности существовать и развиваться.

Бессмертие народа — в его языке. Каждый язык велик для своего народа. У каждого из нас есть свой сыновний долг перед народом, нас породившим, давшим нам самое большое свое богатство — свой язык: хранить чистоту его, приумножать богатство его.

Но вот мы сталкиваемся с новой диалектикой истории. Современное человеческое общество находится в постоянном и все возрастающем контактировании, что все более становится всеобщей жизненной и культурной необходимостью. В этих условиях каждому человеку следует владеть несколькими языками. В литературах некоторых республик ныне возникает явление двуязычия. Я, кстати, принадлежу к писателям-билингвистам. Пишут, как известно, на родном языке и на русском В. Быков, И. Друцэ, М. и Р. Ибрагимбековы, Т. Пулатов... Я знаю много людей, хорошо владеющих несколькими языками — и народов нашей страны, и иностранными. Огромный мир литературы, культуры распахнут перед ними. Я уверен, что это путь будущего, — прекрасный мир должен быть распахнут перед всеми. Недавно я имел встречу с группой молодых алжирцев-трилингвистов — они хорошо знали русский язык, безусловно, свой родной — арабский и превосходно французский... А одна молодая преподавательница еще и берберский язык. В них я вижу модель будущего.

— Я хотела бы повернуть беседу в сторону вашего творчества и обратиться к новому роману «Плаха», публикация которого началась в июньском номере «Нового мира», а в августовском была продолжена.

Как заметил Альберт Швейцер, простое размышление о смысле жизни уже само по себе имеет ценность. Герои ваших произведений, если говорить об их нравственно-философской наполненности, окрыленности, пытаются постичь сложную правду жизни, ее смысл, конечно, каждый на своем уровне, будь это уровень мудрого мышления старой крестьянки Толгонай в «Материнском поле» или Танабая в «Прощай, Гульсары!», которого называют «мужиком-философом». То, что вы писали в свое время о Едигее, о его познании мира и себя самого, мне кажется, проецируется в какой-то мере на новый роман, свидетельствует, что еще тогда у вас забрезжил его замысел: «Мой герой Буранный Едигей много и напряженно размышляет о смысле человеческого бытия... Есть люди, для которых этот вопрос связан с верой в бога; но ведь и для многих из них бог является не чем-иным, как формой нравственности, совести, самосознания. Во всяком случае, одной из форм. Вот и мой герой — советский труженик, а не сектант — над этим вопросом задумывается, и ответ приходит не так просто, как в выступлениях заезжего лектора».

— Действительно, в предыдущем романе «И дольше века длится день» уже прозвучали эти нотки. Они прозвучали в размышлениях Едигея в тот час, когда он хоронил своего друга Казангапа. После трудных и мучительных поисков места для захоронения, перед тем как совершить положенный обряд, Едигей обращается к богу: «Я хочу верить, что ты есть и что ты в помыслах моих. И когда я обращаюсь к тебе с молитвами, то на самом деле я обращаюсь через тебя к себе...»

Как видите, хотя Едигей и взывает к всевышнему, по сути, он обращается к себе самому, потому что никто, кроме него самого и ему подобных, не разрешит его сомнения и тревоги. Если Едигей, так сказать, стихийный, простонародный мыслитель, не имеющий философской оснастки, то герой нового романа «Плаха» Авдий Каллистратов предрасполагал себя к богословской деятельности, но чем-то они родственны друг другу — видимо, отношением к жизни, жаждой справедливости, чувством добра. Совершенно разные, тут Едигей и Авдий соприкасаются.

— В первой и второй частях романа несколько линий: Авдия Каллистратова, моюнкумской «хунты», анашистов, семьи волков, но ясно, что главный для вас все-таки — Авдий Каллистратов. Думаю, этот образ — неожиданность даже для тех ваших читателей, которые привыкли, что каждое последующее айтматовское произведение никогда не повторяет предыдущих, отличается тематической, художественной новизной. В «Плахе» впервые у вас основное действующее лицо произведения — русский человек.

— Да. Авдий—русский, но я рассматриваю его шире — как христианина, хотя то, что в нем происходит, полагаю, касается и тех моих современников, которые своим происхождением связаны с иными вероисповеданиями. В данном случае я попытался совершить путь через религию — к человеку. Не к богу, а к человеку! Из всех линий романа для меня, безусловно, главная — Авдий, его искания.

— Но вы все-таки не случайно выбрали на роль главного героя христианина, а не мусульманина, скажем.

— Разумеется, не случайно. Христианская религия дает очень сильный посыл фигурой Иисуса Христа. Исламская религия, в которую я включен своим происхождением, подобной фигуры не имеет. Мухаммед — не мученик. Случались у него тяжкие, мучительные дни, но чтобы за идею распяли и чтобы он это простил людям навсегда—такого нет. Иисус Христос дает мне повод сказать современному человеку нечто сокровенное. Поэтому я, атеист, столкнулся с ним на своем творческом пути. Этим же объясняется мой выбор главного героя, то, что Авдий Каллистратов именно такой, какой он есть.

— Читая «Плаху», волей-неволей обращаешься к Достоевскому — князю Мышкину, Алеше Карамазову... А ваши Понтий Пилат и Иисус Назарянин заставляют вспомнить Булгакова...

— Что я могу сказать по этому поводу? Мне приятно слышать это вовсе не потому, что я хочу как-то по-панибратски оказаться рядом с великими предшественниками. Работа в данном случае так сложилась, что я соприкоснулся с теми же проблемами, которые когда-то нашли свое осмысление у них. Это вечные категории, вечные проблемы, к которым не только я, но и многие после нас будут приходить. Конечно, я думал о Булгакове в том аспекте, что Понтий Пилат и Иешуа, а у меня Понтий Пилат и Иисус Назарянин — это одни и те же лица и находятся они в одной и той же ситуации. Но, надеюсь, внимательный читатель увидит, что эту ситуацию я пытался решить не то чтобы принципиально иным образом, но привнести в диалог Понтия и Христа весьма существенный момент — с той поры как эта встреча нашла отражение у Булгакова, прошел определенный кусок истории и мы живем в несколько другом временно́м измерении. Мне хотелось привнести нечто новое, то, что мы познаем сегодня, и, в частности, сказать о глобальной уязвимости человеческого мира как такового. Я вовсе не настаиваю, чтобы Страшный суд мы понимали напрямую, как ядерный конец света. Но именно осознание реальности этой угрозы заставило меня попытаться доказать, что надо бояться не вымышленного, мистического конца света, а того, что мы сами можем совершить, что может стать страшной действительностью.

— Оценка вашего романа критикой, в том числе на страницах «ЛГ», разумеется, впереди — после завершения его публикации. Но что вы можете сказать сегодня тем читателям «Плахи», которые считают, будто автор чуть ли не примиренчески относится к религии?

— Полагаю, что роман вызовет разные суждения, разные толкования. После завершения публикации я ожидаю серьезного литературно-критического, если хотите, философского разговора. Но судить о писателях, о произведениях: есть у них или нет симпатии к религии, вычитывая лишь знакомые формулы и не замечая, как и ради каких, вовсе не религиозных целей и идей они используются, — значит, смотреть в книгу и ничего не видеть.

— Судя по вашим произведениям, музыка, песня очень много значат для вас. Вы ведь хотели одну из первых своих повестей назвать «Мелодия», имея в виду музыку любви, — верно? Ту повесть, которой А. Твардовский, публикуя ее в «Новом мире», дал название «Джамиля». И свою первую книжку на киргизском языке вы назвали «Мелодия» — «Овон», не так ли?

В «Плахе» есть очень важный в философской структуре романа эпизод — когда Авдий Каллистратов слушает в Пушкинском музее староболгарские храмовые песнопения. На их волне ему открылась суть прочитанного однажды грузинского рассказа, вернее, баллады «Шестеро и седьмой».

В ваших произведениях легенда, притча, сказка, песня играют существенную роль. Вы придумали эту балладу, ведь такой нет на самом деле? Или это парафраз старой грузинской были? Какую смысловую нагрузку она несет? Развязку баллады, гибель седьмого я прочла как несовпадение этики отдельной личности и общества. Седьмой, не колеблясь, убивает шестерых, ибо если враг не сдается, его уничтожают — во имя общего дела, во имя идеи. Но как человек он не выдерживает этого своего поступка, для него убийство безнравственно. И, конечно, очень существен тот момент, что о причинах, побудивших седьмого уйти из жизни, размышляет Авдий, и к тому же размышляет именно во время храмового пения, а одна из основных христианских заповедей, как известно,— «не убий».

— Можно расшифровать и так. Тут цепная реакция: шестеро оказывали яростное сопротивление, убивали, седьмой карает их за это, осуществляет возмездие, но карает таким же жестоким способом, и, уничтожив, обнаруживает, что и себя как человека он уничтожил, — и получается заколдованный круг, трагедия. Такой баллады, конечно, нет, и я с некоторым беспокойством жду, как отзовутся о ней мои грузинские читатели и собратья по перу, насколько точно я сумел передать реалии, хотя не в них суть. Этой небольшой историей я хотел бы сказать, что гражданские войны всякий раз связаны с национальной трагедией, что приходится проходить через муки и кровь, через национальную трагедию, и это может выразиться в музыке, песнопениях, не только славящих борьбу, подвиг, запечатлевших радость победы, но и, наоборот, заставляющих сожалеть, печалиться о жертвах.

— Роман называется «Плаха». Я опять-таки слышала о другом, видимо, первоначальном названии — «Круговращение» и наткнулась в тексте на его «отзвуние»: «...мне предстоит... погрузиться в совсем иную жизнь, ту, что колобродит испокон веков в омутах суеты и КОЛОВРАЩЕНИЙ...», «...через все КРУГОВРАЩЕНИЯ времени протянулась нить и к его судьбе». Почему вы изменили название? Ведь для вас название всегда очень важно.

— Действительно, я собирался — и это намерение остается — написать большой синтетический роман «Круговращение», который должен был вобрать в себя и историю Авдия Каллистратова, и историю семьи волков, и многое другое. Воплотить замысел — соединить разные сюжетные линии, разные времена в единое целое оказалось очень сложно. И понял, как долго мне предстоит работать над этой вещью, я решил историю Авдия написать отдельно. Я не предполагал, что она выльется в роман, думал — будет небольшая повесть, но она подверглась саморазвитию.

А название «Плаха», мне кажется, вытекает из содержания романа. Плаха — это не только помост, где совершают казнь, лобное место. Человек в течение своей жизни так или иначе оказывается перед плахой. Иногда он восходит на эту плаху, естественно, физически оставаясь живым, иногда не восходит. В данном случае название говорит о том, какой ценой дается плаха, восхождение к ней, и есть ли в этом смысл, в этом пути на крестную муку.

— Роман начинается трагической нотой, пронзительными страницами о страшном, кровавом побоище в уникальной сайгачьей саванне, истории волчьей семьи. Для ваших читателей обращение к миру природы, к образам животных не ново — иноходец Гульсары, верблюд Каранар, теперь волки Акбара и Ташчайнар, написанные с поразительной психологической, эмоциональной силой...

— Киргизский фольклор очень насыщен животным миром, потому что это фольклор скотоводов. И рядом с героем — обязательно его конь. С конем связаны гигантские психологические «куски» в эпосе «Манасе», например, когда повествуется о конных состязаниях, — что происходит с человеческой душой в эти мгновения, какие страсти в ней вскипают, какие безумные столкновения случаются между людьми. Есть у нас удивительный, очень древний эпос «Коджоджаш», который восходит к тем временам, когда человек и природа, животный мир еще не были расчленены, не были разделены. Один его мотив я использовал в «Прощай, Гульсары!». Эпос рассказывает о том, как молодой удалой охотник Коджоджаш — кормилец племени истребляет в горах всех диких коз. И однажды к нему с мольбой обращается Серая хромая коза. Она просит не убивать ее и старого Серого козла, потому что, кроме них, некому продолжить род. Серая коза неосторожно завлекает его самолюбие, сказав, что если он не оставит их в покое, то навлечет на себя страшную кару. Охотник смеется над ее словами: что может она ему сделать? — и убивает старого козла. Серая коза, хоть и хромая, убегает от него, и, догоняя ее, он оказывается на таких неприступных скалах, откуда ему нет спуска вниз и ходя вверх. «Вот твоя кара», — уходя, говорит ему коза.

Так в мышлении древних вырисовывался экологический тупик. Конечно, у этого эпоса могут быть самые разные толкования. У меня такой вариант: еще в древности человек предостерегал себя от неразумного отношения к природе, и в частности истребления животных даже ради своих жизненных потребностей. Еще тогда обозначились эти аспекты экологических проблем, наших сегодняшних забот.

Так что истоки моего столь пристрастного отношения к животному миру еще и туда уходят корнями, в киргизский национальный фольклор.

— В прежних ваших вещах Танабай и его конь Гульсары, Едигей и его верблюд Каранар — это если можно так сказать, родство душ, близость судеб, их неразделенность. А в «Плахе» волки возвышаются над человеком, над его низменными повадками. Во время облавы на сайгаков в моюнкумской саванне, «...в этом апокалиптическом безмолвии волчице Акбаре явилось лицо человека. Явилось так близко и так страшно, с такой четкостью, что она ужаснулась...»

— Зверю видится зверь.

— Притом Акбаре, хищнику, этот зверь-человек кажется страшным. Семья волков в романе находится как бы между двух человеческих миров. С одной стороны, планета людей в лице Авдия с его гуманным отношением ко всему живому, человеколюбием, желанием понять причины падения людей, помочь им не только нравоучениями, но и личным участием, с его жаждой любви — «никогда не предполагал, что думать о любимой женщине и писать ей письма станет смыслом моей жизни... я не перестану любить до самой смерти...». С другой стороны, планета нелюдей — «хунта», как нарекла себя команда исполнителей моюнкумского злодеяния, алкоголики, бездомные, перекати-поле, живущие по звериным, в худшем смысле слова, законам, и молодые гонцы за анашой. У «хунты», по сути, ничего человеческого нет, а у волков — семья, узы привязанности, родительские чувства. Этот контраст мне видится с самого начала. Он подчеркивается сценой в Пушкинском музее, когда перед поездкой в степь с добытчиками анаши Авдий слушает софийских певцов: «Какой контраст — божественные гимны и темные страсти привокзальных Утюгов по дурному дыму от дурной травы». Не знаю, сознательно ли создавалась такая архитектоника первой и второй частей романа, но я, во всяком случае, увидела контраст довольно четко.

— Он проходит до самого конца романа. И в третьей части семья волков, их трагическая история тоже находится между двух миров, связана с историями двух семей, двух противоположных людей — чабанов Бостона Уркунчиева и его недруга Базарбая Нойгутова. Они — антиподы, как Авдий Каллистратов и Гришан — главарь анашистов, обращающий молодые души в свою веру: «на свете все продается, все покупается», «деньги — это все».

— Почему вы «заболели» проблемами молодежи?

— Они, по-моему, сейчас очень обострились. Я помню себя студентом. Мы только что пережили войну, только стали приходить в себя, было много трудных, сложных моментов, но в наших молодых душах, подчас наивных, инфантильных, бурлил дух коллективизма, интернациональной спаянности. Может быть, тому способствовала война — общая беда.

— В ваших «Ранних журавлях» это очень хорошо показано.

— А сейчас я не хотел бы быть молодым.

— По возрасту...

— Разумеется, по возрасту. Хотя мне это и не давно, но я не хотел бы быть юнцом. Мне как-то неуютно среди нынешней молодежи.

Мы сами, наверное, виноваты в том, что происходит с неопершейся, юной частью общества. В условиях благоденствия, а мы, что ни говори, благоденствуем, нет у нас голодных, нищих, бездомных, — издержки нравственного воспитания, отсутствие высокой внутренней культуры приводят к потребительству, иждивенчеству, вещизму, когда во главу угла ставится материальный фактор, когда духовный потенциал приближается к нулевой отметке.

В значительной мере, я считаю, тут виновата семья, а еще больше—школа. Она, на мой взгляд, не соответствует тем возросшим требованиям времени и противоречиям, которые мы испытываем. Я беседовал недавно с человеком, одержимым идеей реформы, не той, которую мы сейчас пытаемся осуществить, а другой — глубинной, коренной, могущей превратить школу, действительно, в очаг гармоничного разностороннего развития, образования, воспитания. Когда буквально с двух-трех лет начнется приобщение детей к посильному труду, раннее приобщение к литературе, музыке, живописи. Предполагается, что группы будут маленькие, что к детям будет индивидуальный подход.

— Кто же пойдет на такие затраты?

— На народном образовании экономить нельзя, просто нехорошо. Переуплотнение классов даже при наличии прекрасных учителей отрицательно сказывается на качестве знаний учащихся, да и на морали. Когда мы с помощью одного учителя обучаем полсотни детей — это же не обучение, а профанация его.

На съезде Компартии Киргизии я высказал эту свою тревогу, на примере ведущей школы № 5 в городе Фрунзе говорил о том, что ни Госплан республики, ни Министерство просвещения, ни Фрунзенский горисполком, ни соответствующие отделы ЦК годами и десятилетиями не могут решить проблем этой и других школ, в которых количество учеников все более увеличивается, утрамбовается, а стены и бюджет остаются прежними. Общество должно себя в чем-то серьезно умерить, но пойти на затраты в просвещении. Тогда мы сможем реально вести речь о научно-техническом прогрессе, тогда во множестве появятся таланты, умы с высоким нравственным, духовным потенциалом.

И комсомол, на мой взгляд, должен подумать о себе, по-моему, он сильно зарутинизировался: не чувствуется его боевой, объединяющий, мобилизующий, магический дух. Полагаю, и ему надо перестроиться, чтобы эффективнее воздействовать на молодежь, играть в ее жизни такую же роль, как в дни моей юности, а мое поколение искренне называет свою юность комсомольской. Это не пустое слово.

Отупляющий ширпотреб искусства тоже делает свое недоброе дело.

— Валентин Распутин сказал в связи с этим, что если бы Пушкин слушал не сказки и песни Арины Родионовны, а песни модной эстрадной певицы, то из него получился бы не Пушкин, а Дантес. Это, разумеется, гипербола, полемически заостренное преувеличение писателя, озабоченного духовной жизнью молодых современников. И дело не только, вернее, не столько в песнях одной певицы, сколько в том, что разливанное море дешевой, безликой песенной муры, которая только и может, что развлекать, отвлекать, завлекать, но не способна вовлекать в духовную работу, пробуждать «чувства добрые», заполняет часы досуга молодежи.

— А показ ради забавы жестоких западных фильмов с погонями, избиениями, убиениями! Взрослые люди могут отнестись к этому критически. А дети, подростки, неопытные, неразборчивые, подхватывают механически, впитывают, подражают.

Никто за нас не будет воспитывать нашу молодежь, формировать юные души. И нельзя благодушествовать, надеясь, что ничего страшного не происходит: сейчас они жестокие, бессердечные, высокомерные, а подрастут — исправятся, мы их исправим. Не исправим. Исправлять трудно. И полагать, что если мы даем массовое среднее образование, то это решит все проблемы, — так полагать по меньшей мере наивно. Наоборот, чем выше уровень грамотности, тем больше трудностей, сложностей в воспитании, надо быть более тонкими в своих методах, в своих приемах, более изощренными, гибкими.

— Чем вы располагали, какими реалиями, фактами, когда вели внашистскую линию романа?

— К этой теме я тоже, конечно, обратился не случайно. Горьков письмо матери двух сыновей-наркоманов, напечатанное недавно в «Литгазете», — еще одно подтверждение существования этой болевой проблемы. Долгие годы мы сами от себя скрывали нашу беду, и меня волновали, естественно, вопросы: почему у части нашей молодежи возникает эта болезнь, какие существуют причины, семейные, личные, допускающие возможность такого порочного явления в нашем обществе? Откуда и как подступает оно исподволь к нам? Что, какие социальные неустройства толкают юные души на этот губительный путь?

Не они — мы должны думать и отвечать перед самими собой.

Однажды я поехал встречать поезд на очень далекую степную станцию. Поезд задержался на несколько часов, я бродил, не зная, куда девать себя, и один милиционер, видимо, узнав меня, предложил посидеть у них в отделении. Когда я вошел в служебное помещение, то увидел: в одном углу в железной клетке находились мальцы, задержанные на товарных поездах за провоз наркотической анаши. В другом углу — вещественные улики: рюкзаки, сумки, чемоданы с той самой анашой. Мне стало дурно. Помочь им я не мог, потому что дело уже приняло юридический оборот. Письмо несчастной матери в «Литгазете» снова заставило меня вернуться к тому, о чем я думал тогда, о чем следовало хоть в публицистической форме, но обязательно написать: да, они нарушили закон и заслуживают кары, но им надо помочь, мы обязаны это сделать, их необходимо лечить, искать способы исцеления.

— Почему продолжение «Плахи» появилось не в седьмом номере «Нового мира», а в восьмом? Когда выйдет третья часть романа?

— Эти вопросы мне задают многие. Я не успел вовремя вычитать верстку. Поэтому вторая часть романа была перенесена на восьмой номер, а в девятом публикация должна завершиться.

— Чингиз Торекулович, можно узнать, что вы сейчас читаете?

— Я был занят «Плахой» и не смог пока прочитать некоторые книги, которые очень хотел бы прочитать. Начал знакомиться с новой книгой А. Адамовича «Ничего важнее». И хотя в подзаголовке ее значится «Современные проблемы военной прозы», даже по тем страницам, которые я успел прочитать, можно судить, что диапазон книги намного шире—актуальные проблемы не военной прозы только, а всей нашей художественной мысли, всей литературы, и не литературы только, но и жизни. Не сомневаюсь, что эта душа, которая называется Алесь Адамович, опять заставит меня думать, страдать, будет увлекать меня через страдания и переживания к чему-то доброму, настоящему. — в этом я не сомневаюсь: он уже так, и только так мною воспринимается. В новой книге он ведет разговор об этике и нравственности, о том, что сегодня иного пути, кроме гуманизма, нет.

Мы и сейчас выступаем против внесоциального понимания гуманизма, но, с другой стороны, в ядерную эпоху, когда над человечеством, над цивилизацией нависла реальная угроза их исчезновения, у нас более широкое, чем прежде, представление о гуманизме. Мы пытаемся найти универсальный подход к общечеловеческим проблемам. Сейчас, когда мир достиг такого уровня технического состояния и такого уровня противоречий, когда человечество в нравственном отношении не поспевает за теми достижениями, которые оно создает с помощью разума и рук своих, чрезвычайно важно, чтобы литература и искусство своими средствами оказали максимальное воздействие на человека, сказали ему, что нет таких убеждений, целей и задач, цена которым — жизнь человечества. Надо навсегда затвердить всечеловеческую заповедь для всех — только мир, и ничего иного!

Фото А. КАРЗАНОВА

Беседу вела
Ирина РИШИНА